

НАТАЛЪЯ
КУРТАКОВА

18+

ПОКА
СПИТ
МЕДВЕДЪ

18+

Наталья Куртакова
Пока спит медведь

«Автор»

2026

Куртакова Н.

Пока спит медведь / Н. Куртакова — «Автор», 2026

Мир покоится в снах древнего Медведя. А дети, рожденные от нарушения его тайн, несут в себе частицу этого хаоса. Зареница родила такого ребенка - не по своей воле, а как сосуд для чужой магии. Спустя годы ее Несын возвращается, и с ним просыпается сила, способная перевернуть мироздание. Спасти свою дочь и все, что ей дорого, Зареница может лишь одним способом - совершив невозможный ритуал отказа. Отказа от сына, от прошлого, от части самой себя. «Пока спит Медведь» - роман-размышление о самом тяжелом выборе. О том, что остается, когда материнство становится не даром, а проклятием, навязанным силой. И где грань между жертвой и искуплением?

© Куртакова Н., 2026

© Автор, 2026

Наталья Куртакова

Пока спит медведь

РОМАН

*Не буди Медведя.
Не рожай его снов.*

ПОКА СПИТ МЕДВЕДЬ



НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ

© Наталья Куртакова, 2026

ISBN 978-5-6055752-0-7

ПРОЛОГ

Первые три ночи после заморозка – самые важные в году для жрецов Спящего Медведя. В эту пору, когда земля сковывается железным инеем, а жизнь уходит вглубь, они приходят к Камню-Пуповине, чтобы помочь Хозяину Леса уснуть.

Поляна в сердце Чернобора была неестественно тихой, будто сам воздух застыл в ожидании. Огромный валун, Пуповина, будто выросший в самое нутро мира, стоял в центре, его древние руны были скрыты инеем и мхом. Пятеро жрецов вошли босыми ногами на промерзшую землю.

Во главе шел Ставр. Он был древен, как корни Чернобора. Его лицо, изрезанное морщинами глубже, чем руны на Камне, напоминало высохшую кору, а впалые глаза хранили холодный отсвет вечных сумерек. В его жилистых руках покоилась «Гром-Кожа» – барабан из цельной шкуры лося, тяжелый и немой до поры.

За ним, с трудом сдерживая мощного секача, шли Вячеслав и Ратибор. Вячеслав, лет пятидесяти, был широк в плечах и молчалив, как заповедная чащоба. Его короткая седая борода ледяным инеем покрывала упрямый подбородок, а взгляд, из-под нависших бровей, видел не предметы, а лишь их тени. Ратибор, его ровесник, но тронутый годами легче, был поджар и жилист. Хитринка в его глазах не гасла даже во время обряда, а подвижное лицо хранило отпечаток былой удалы, ныне сдержанной долгом.

Замыкали шествие жрицы. Велесина, младшая, чье лицо едва лишь тронули первые морщины у глаз – тонкие, как трещинки на весеннем льду. Ее светлые волосы, заплетенные в тугую косу, казались выбеленными лунным светом, а большие, прозрачные глаза смотрели на мир с тихим, бездонным пониманием, будто она впитывала не звуки, а саму душу леса. Она была преемницей Агафьи, и в ее хрупкой фигуре угадывалась та же природная мудрость, лишь тронутая первым инеем.

И, наконец, Агафья, чей возраст был не бременем, а знаком мудрости, отлитой в плоть. Она ступала медленно и твердо, словно ее корни сплетались с корнями самого Чернобора. В ее руках был не просто посох для опоры, а знак ее сана – тяжелый посох из черного вяза, увенчанный резным навершием в виде спящего медведя, свернувшегося клубком. Когтистые лапы зверя смыкались вокруг матового камня лунного кварца, вмурованного в дерево.

Каждый шаг Агафьи, отмеченный глухим стуком посоха о мерзлую землю, был не просто движением, а частью ритуала, будто она вколачивала в почву саму тишину и сон. Этот мерный стук стал метрономом, задающим ритм всему происходящему. И будто в ответ ему, прорвавшись сквозь эту давящую тишину, прозвучал удар.

Ставр ударил медвежьей лапой по натянутой шкуре «Гром-Кожи». Звук был негромким, но тяжелым, словно под землей билось гигантское сердце, нашедшее свой пульс. Жрецы задвигались по поляне, не идя, а переставляя ноги в такт этому пульсу. Они начали нараспев бормотать бессмысленный набор гортанных звуков – подражание шепоту уснувшего леса. Это был не призыв, а настройка. Велесина раздула угли, и в медный котел полетела смесь: сушеный мухомор, медвежья шерсть, кора вяза-упыря и костный прах. Повалил густой, сладковато-гнилостный «Дым Снов». Он не поднимался к небу, а стлался по земле, как туман, окутывая их ноги и делая воздух вязким и тяжелым для дыхания.

Когда бой барабана стих. Велесина, ее роль была самой страшной, подошла к Камню. Она была «тишиной» – жрицей, чей голос почти не слышали. Символ чистоты и уязвимости. Она сбросила с себя одежду и легла голым телом на ледяной камень, прижав ухо к его шершавой поверхности. Ее задача – услышать сквозь камень ритм сна Медведя. Все замерли. Она лежала недвижимо, лишь мурашки бежали по ее коже от холода. Мгновение, другое. Ставр с облегчением кивнул – сон Хозяина был глубоким. Не было ни вздрагиваний, ни слез.

Ратибор и Вячеслав силой подвели кабана к самому подножию Пуповины. Ставр накиннул на его мощную шею петлю из лыка. В этот момент Велесина, не сходя с камня, приподняла голову. Она не пела слов. Она открыла рот и издала едва слышный, низкий, вибрирующий гул. Он шел не из гортани, а из самой глубины ее существа, звук утробы земли, ощущаемый костями, а не ушами. В такт этому гуду жрецы, все разом, рванули петлю. Кабан захрипел, затрепыхался в предсмертных судорогах. Его хрип и беззвучный гул Велесины сплелись в жуткую симфонию – колыбельную угасания силы, усыпляющую Медведя.

Когда тело кабана обмякло, его не стали разделять на мясо. Вячеслав и Ратибор разрубили тушу каменным топором. Кровь и внутренности, дымящиеся на морозе, сгребли в заранее выкопанную яму у подножия Камня. Все это засыпали землей, полили темным, густым пивом, «кормя» почву, чтобы сила жертвы дошла до спящего внизу.

Обряд был завершен. Медведь будет спать. Жрецы, не говоря ни слова, стали отступать от Пуповины задом, засыпая за собой следы, чтобы не оставить ни единого знака, способного потревожить Хозяина.

Они шли молча, пока не скрылся из виду гнетущий силуэт Пуповины, и лес вокруг не стал обычным, хоть и глухим, Чернобором. Только тогда они развернулись и пошли нормально, по-человечески, ощущая под ногами хруст мерзлого папоротника.

– Фу-у-х, – первый нарушил тишину Ратибор, скинув с плеча тяжелую лопату и вытирая пот со лба, оставляя грязную полосу. – Отлегло. До следующего года. Кабан нынче сильный попался, еле управились.

– Не кабан сильный, а руки у тебя не и того места растут, – проворчал Вячеслав, растирая затекшую шею. – Тяни ровнее, а не рвись вперед, будто на пожар.

– А ты, Вяча, как всегда, бурчишь, будто медведь в берлоге, – не смутился Ратибор. – Хоть бы раз улыбнулся, а то мороз от тебя крепчает.

Агафья тяжело вздохнула, остановившись передохнуть. Пар от ее дыхания стелился в сером предрассветном воздухе.

– Для меня, поди, этот был последний, – сказала она просто, глядя куда-то в голые ветви вязов.

Все замедлили шаг, взгляды обратились к ней.

– Как так последний? – нахмурился Ставр. Голос у него был глухой, как удар «Гром-Кожи».

– Да годы, Ставр, годы. Не девица. Ноги не слушаются, спина ноет. Руки трясутся. Сегодня, когда петлю на кабана накидывали, я ею дернула невпопад. Чуть ритуал не сорвала. Силы нет. Хочу, – она обвела взглядом своих спутников, – домой. К печи. Внуков нянчить. Правнуков. Прясть шерсть да борщи варить. Службу свою я Медведю отдала сполна. Хватит.

Ратибор, всегда ищущий повод разрядить обстановку, хмыкнул и подмигнул Агафье:

– Брось, бабка! Тебе бы еще за мужика замуж выйти, ребятишек нарожать. Глядишь, лет через десять как раз на покой, с младшим возиться.

Агафья фыркнула, и в ее усталых глазах на мгновение блеснула искорка бывшего огня.

– Дурак, Ратибор. Какой там мужик, мне шесть десятков стукнуло. Я и своих-то рожала, когда ты под стол пешком бегал. Хватит с меня.

Велесила, до этого шедшая молча, вся сжалась. Глаза ее, обычно ясные, помутнели от напавшей боли.

– Хоть бы и не шутил так, Ратибор, – тихо, но четко сказала она. – Не для всякой это шутка. Мечтала я о детях... да не встретился тот, с кем бы путь свела. А годы уходят. Служба – она и радость, и оковы.

Воздух на мгновение снова стал тяжелым, но уже по-иному – от сожалений, а не от дыма.

– Всяк свою долю несет, – мерно произнес Ставр, и его слова, как всегда, легли на душу успокаивающей тяжестью. – Одно сердце тянется к очагу, другое – к тайне леса. И то и другое – служение. Не корите себя, Велесила. Неведомы пути Рода.

– Вот именно! – подхватил Ратибор, стараясь вернуть легкость. – Гляди, Вячеслав тут хмурый ходит, а, может, тайно по тебе, Велесила, вздыхает! Вот и добрый молодец под боком!

Вячеслав остановился как вкопанный и обернулся. Его суровое лицо исказилось гримасой такого искреннего и полного недоумения, что Агафья не выдержала и фыркнула, прикрыв рот ладонью.

– Ты у меня, Ратибор, по глупости своей сейчас с утра пораньше в сугроб лицом окунешься, – беззлобно, но с железной уверенностью произнес Вячеслав. – И помолчи уже, ради всего святого.

Ратибор только усмехнулся, готовясь парировать, но его слова потонули.

Они уже подходили к опушке, за которой виднелись первые избы Мсты, черные на фоне светлеющего неба, как сквозь утреннюю тишину, сквозь щебет первых проснувшихся птиц и этот редкий смех, явственно донесся тонкий, пронзительный звук. Детский плач.

Велесилу резко передернуло, будто она наступила босой ногой на острую кость, торчащую из земли. Ее пустой, отрешенный взгляд после ритуала мгновенно наполнился животной тревогой, инстинктом, дремавшим в глубине ее существа долгие годы.

– Слышите? – выдохнула она, и в ее голосе прозвучала нота, которую никто от нее не слышал – острая, живая боль. Не дожидаясь ответа, она, спотыкаясь о корни, рванула в сторону, на звук.

Остальные, переглянувшись, последовали за ней. Плач становился все громче, настойчивее, режущим ножом в утренней тишине. Он шел от большого плоского камня-лежня у края поляны, того, на котором летом девушки сушили белье.

На камне, будто оставленный самой стужей, лежал сверток из потертой, но плотной домашней холстины. Из него торчало маленькое, краснощекое личико, искаженное отчаянным криком. Крохотные кулачки судорожно сжимали холодный воздух.

Велесила застыла в двух шагах, словно боялась спугнуть самое хрупкое видение своей жизни. Дыхание ее застряло в горле. Затем ее глаза, полные ужаса и надежды, метнулись по сторонам, впиваясь в сумрак леса.

– Эй! Кто здесь? – крикнула она, и ее голос, обычно тихий, сорвался на высокую, почти истеричную ноту. – Отзовись!

В ответ был лишь шелест последних сухих листьев, будто лес равнодушно пожимал плечами.

– Родители! Ради всего святого, отзовитесь! – снова крикнула она, и в этой мольбе слышалась вся ее собственная, непрожитая материнская тоска.

Жрецы молча обступили камень. Несколько долгих минут они стояли в напряженном ожидании, вглядываясь в серый, безлюдный рассвет. Мир вокруг был пуст и безмолвен.

– Бросили, – тихо, без всякого осуждения, констатировал Вячеслав. – Видно, девочка. Лишний рот. Зимой не прокормить.

Слова Вячеслава словно обожгли Велесилу. Она медленно, почти благоговейно, словно подходя к святыне, сделала последний шаг к свертку и наклонилась. Ее длинные, изящные пальцы, только что державшие ритуальные атрибуты и пахнувшие дымом и смертью, теперь отчаянно дрожали. Она боялась дотронуться, боялась, что видение рассыплется. Кончиками пальцев она коснулась влажной, горячей щеки младенца.

Плач мгновенно стих, будто ее прикосновение было тем самым заговором, которого не хватало. Малютка сморщила носик, а затем уставилась на склонившуюся над ней женщину большими, синими, как осеннее небо после грозы, глазами. В них не было ни страха, ни боли – лишь чистое, бездонное любопытство.

И тут в груди Велесилы что-то оборвалось. Ледяная панцирь многолетнего служения, принятой судьбы, тихой тоски по теплу и жизни – все это треснуло и рассыпалось в прах под взглядом этих детских глаз. Сердце, годами скованное льдом бесплодия и долга, дрогнуло, забилося вновь – дико, болезненно, но живо. В ее взгляде был и страх, и смятение, и какая-то дикая, первобытная, незнакомая ей самой нежность, которая затопила ее всю, смывая усталость и пепел ритуала.

– Никого нет, – сказала она, обводя взглядом остальных. Голос ее был тих, но в нем звучала сталь, выкованная в горниле этого мгновения и не допускающая возражений. – Никого не будет. Значит... значит, моя. Моя.

Она бережно, с невероятной для ее хрупкой фигуры силой, подняла сверток, словно это была не просто девочка, а величайшая святыня, дарованная самим лесом в утешение за все лишения. Она прижала младенца к своей груди, к наглухо застегнутой кожаной ризе, пропитанной запахом «Дыма Снов». Малютка уютно устроилась, легонько чмокнула, и окончательно замолкла, найдя, наконец, тепло и покой.

Слезы, которых у нее не было даже в самые страшные моменты обрядов, наконец хлынули из глаз Велесилы, оставляя чистые полосы на ее закопченном лице.

– На заре нашли, – прошептала она, глядя на алеющую полосу на востоке, что разрывала серое небо. – Новый день. Новая жизнь. Значит, и имя у нее есть. Зареница.

Ставр хмуро смотрел на эту сцену, но в глубине его старческих глаз плеснулось нечто, похожее на умиротворение. Он понимал. Это было сильнее любых ритуалов.

– Род продолжается, – тихо произнес он. – Не нашими путями, но продолжается.

Ратибор и Вячеслав переглянулись. Для них это было дело житейское, подкидыши у леса не редкость, но даже Вячеслав на этот раз не пробурчал ни слова, увидев преображение своей спутницы.

Агафья с внезапной, теплой и глубокой материнской нежностью в глазах подошла к Велесиле и положила руку ей на плечо.

– Не судьба, дитяtko, – поправила она тихо. – Благословение. Тебе в утешение за все. Теперь твоя служба обрела новый смысл. Расти ее, коли боги, наконец, дали.

И пятерка жрецов, а теперь уже и с новым, крохотным, теплым комочком жизни – их самым неожиданным и самым желанным даром, – двинулась вниз, к спящей деревне, навстречу первому зимнему дню, который для Велесилы перестал быть концом, а стал началом.

ГЛАВА 1: ЗАРЕНИЦА

Поздняя весна дышала в оконце сторожки влажным теплом, запахом прелой листвы и цветущей черемухи. Первый луч солнца, золотой и тяжелый, как мед, пробился сквозь завесу тумана над Чернобором и упал на деревянную лавку, где сидела Зареница.

Прошло двадцать лет с той поры, как ее, спеленатую в грубый лен, нашли на камне-лежне. Материнское счастье Велесины, нашедшей свое благословение в холодном свертке, оказалось недолгим. Когда девочке исполнилось шесть лет, жрица захворала. Ни знахари, ни жрецы не смогли одолеть болезнь, что точила ее изнутри, словно червь под корой. Велесина ушла, оставив девочку на попечение общины.

Опека над сиротой легла на плечи Агафьи, к тому времени уже оставившей прямое служение. У старой жрицы как раз подрастала младшая внучка, Олена, на пару лет старше Зареницы. Так и росла найденышка в доме Агафьи, постигая не по годам глубокую мудрость бывшей жрицы, ее знание трав, примет и тишины.

А когда ей минуло пятнадцать, она нашла свой дом. Вернее, он нашел ее. Здесь, на отшибе, у самого края леса, стояла не курная избушка, а низкая, прочная сторожка из лиственницы, похожая на заброшенную заимку. Не духи и не голоса, а само расположение камней, изгиб корней вековых елей и течение ручья словно подвели ее к этому порогу. Дом был пуст и забыт. Позже, по крупицам, она узнала, что здесь когда-то жил «молчальник» – человек не от мира сего, пришедший извне и не желавший ни с кем говорить, лишь слушавший лес. Считалось, что он ушел умирать в чащу, когда пришло его время. Дома после него сторонились, но Зареница ощутила в его стенах не зло, а глубочайшее, кристальное молчание, в котором ее собственная сила обрела ясность.

И вот теперь ей было двадцать годков, и сила в ней пульсировала тихой, ровной волной. Она не унаследовала ее, не переняла по крови. Ее принесли к Мстам ребенком-подкидышем. В мешочке из бересты на шее у нее тогда нашли не обереги, а три сушеных зернышка пшеницы и щепотку ржавой, будто проржавевшей, земли. Загадка, которую она носила в себе.

Распустив волосы, она медленно, ритмично водила гребнем из бересты, и тяжелая, как спелый колос, коса рассыпалась по плечам пламенным водопадом. Тихая песня лилась из ее глотки, ровная и древняя, как сам этот лес:

*Ты взойди, взойди, солнышко,
Освети мою светлицу,
Освети мою светлицу,
Распадись, моя тоска...*

Голос ее был негромким, но плотным, наполнявшим маленькое пространство избы. Каждое движение было частью утреннего ритуала: вот она собрала распущенные волосы, вот сплела их в тугую косу, обвивая вокруг головы венцом. Она не просто собиралась – она настраивалась на день, как лук натягивает тетиву.

Выйдя на крыльцо, она подставила лицо солнцу. Сторожка, срубленная давным-давно каким-то молчальником, стояла на самой опушке, будто вросшая в лес. Стены ее густо поросли мхом, а с крыши свешивались гибкие плети хмеля. Здесь не было деления на «мое» и «лесное» – все было едино.

Серые, как дождевая туча, глаза скользнули по опушке, выхватывая из утренней дымки знакомые приметы: тут – на березе нужный нарост-чага, там – примятая трава, где прошел лось. Она направилась к пасеке – к своим «сестрицам». Пчелы, опушенные утренней прохладой, лениво выползали из летков. Зареница подошла к ближайшему улью-дуплинке и приложила ладонь к теплему, шершавому дереву.

– Просыпайтесь, хозяйюшки, – прошептала она. – Солнышко кашу варит, цветы мед носят. Летите, набирайтесь сил, мой труд вам в помощь.

Рой ответил ей дружным, сонным гудением. Она провела рукой над спинами насекомых, не касаясь их, и пчелы, будто понимая ее, расступались и снова смыкались. Она знала, что сегодня они полетят на липу, что только начала набирать цвет, – ветер донес до нее этот сладкий, липкий запах еще на заре.

Наклоняясь, чтобы собрать с паутины, переливающейся на солнце, ночную росу для умывания, пальцы ее коснулись влажной, холодной земли. И сквозь шершавость почвы она вдруг ощутила под пальцами грубый лен. Воспоминание пришло, как тихий удар: темный, испещренный мхом камень-лежень, и она, спеленатая, лежащая на нем. Три пары глаз, смотрящих на нее со смесью страха и надежды. Три зернышка, брошенные в ее берестяной мешочек...

Она отдернула руку, встряхнула головой. Прошрое было тенью, но сегодня оно казалось назойливее. Вода в ручье, к которому она подошла, прошептала: «*У коряги, на излуине, ищи...*» Она послушалась и нашла темный, упругий корень сапожника.

Вернувшись с травами, Зареница замерла на пороге, вслушиваясь в предрассветную тишину. И сквозь нее ясно донесся сломанный, задышающийся звук – чьи-то торопливые, спотыкающиеся шаги и прерывистые всхлипы. Из чащи на опушку выпорхнула, как перепуганная птица, женская фигура. Это была Агриппина, молодая вдова из деревни. Она шла, согнувшись пополам, не от тяжести ноши, а от горя, прижимая к груди туго спеленатый сверток.

Увидев Зареницу, женщина застыла на мгновение, а потом, подбежав, рухнула перед ней на колени в мокрую от росы траву. Слезы текли по ее бледным щекам ручьями, смешиваясь с пылью дороги.

– Ведунья... Матушка... – выдохнула она, захлебываясь. – Спаси... молю тебя... дитя мое помирает... Никто не помог... только к тебе...

Зареница не спеша поставила лукошко с травами на крыльцо. Ее движения были плавными, лишенными суеты. Она подошла к Агриппине и мягко, но твердо взяла ее за локоть, заставляя подняться.

– Встань. Не к лицу матери в землю кланяться. Силы не трать, они тебе еще нужны, – ее голос был тихим, но таким весомым и спокойным, что всхлипывания женщины на мгновение стихли. – Дай на него взглянуть.

Она не выхватила сверток, а бережно, почти невесомо, приняла его из дрожащих, заковневших от страха рук матери. Агриппина разжала пальцы с неохотой, будто отрывая от сердца часть самой себя.

Зареница развернула уголок одеяла. Младенец внутри был огненным на ощупь. Маленькое личико заливал багровый жар, все тельце билось в мелкой, страшной дрожи. Из пересохших, потрескавшихся губок вырывался хриплый, горловой звук – не плач, а короткий, звериный рык.

Зареница встретила взглядом с Агриппиной. В ее серых, как дождевая туча, глазах не было ни ужаса, ни осуждения, лишь глубокая, сосредоточенная ясность.

– Знаю эту хворь, – тихо, чтобы не испугать ни ребенка, ни мать, сказала она. – Звериная лихорадка. Вселилось в него что-то лютее, чужое, заблудилось в тельце и мечется, не находя выхода. Но мы его найдем и проводим. Ступай за мной, напои себя чаем, пока я с ним буду беседовать.

Она не суетилась. Ее спокойствие было крепостью. Она внесла ребенка в избу, уложила на грубую постель из звериных шкур. Агриппина осталась у порога, заламывая руки.

Зареница присела рядом, закрыла глаза. Она приложила ладони к пылающим вискам ребенка и вошла в его недуг.

Внутри был темный, горячий лес. Воздух был от безысходности, а в центре этого хаоса, свернувшись в клубок, металась и рычала чужая энергия – маленький, слепой волчонок яро-

сти и боли. Он не знал, где выход, и рвал все вокруг. Зареница не стала его уничтожать. Она приблизилась к нему мысленно, окружила его не светом, а тишиной. Тишиной прохладного утра, шепотом ручья, гудением пчел. Она уговаривала его, убаюкивала, растворяла его дикость в безмятежности Медвежьего сна.

Снаружи это выглядело иначе. Ладони Зареницы стали горячими, будто раскаленными. Из ее аккуратно уложенной косы выбилась прядь, и она тут же поседела, будто присыпанная пеплом. Воздух в избе задрожал, затрепетал. Агриппина, глядя на это, с ужасом плевала через плечо.

И вдруг рычание ребенка прекратилось. Напряжение спало. Тельце обмякло, тяжелый, лихорадочный румянец стал сходить, сменяясь здоровым розовым цветом. Младенец глубоко вздохнул и уснул мирным, ровным сном.

Зареница открыла глаза. Она поднялась, и ее шаги были немного тяжелее, чем обычно.

– Отходил. Теперь просто поспит.

Агриппина, рыдая, бросилась к ногам ведуньи.

– Чем заплачу, матушка? Чем? Золота у меня нет...

– Даром данное – даром отдается, – устало ответила Зареница. – Принеси краюху хлеба, когда испечешь. Твоего хлеба, на своей закваске. Этого довольно.

Женщина, все еще плача, но уже от облегчения, кивала, прижимая к груди сонное, уже прохладное дитя. Она не переставая кланялась, пятась от сторожки, как от алтаря, и скрылась в сумраке леса. Но в ее глазах, рядом с безмерной благодарностью, жил и жуткий, неприкрытый страх. Она боялась той, что только что спасла ее ребенка.

Зареница проводила ее взглядом и на мгновение прислонилась к косяку двери, чувствуя, как по ногам разливается свинцовая усталость. Каждая такая «беседа» с болезнью отнимала не только силы, но и частицу чего-то глубоко личного. Она сделала глубокий вдох, пытаясь вновь обрести утраченное за утро равновесие.

Ветер, что раньше шептал о травах и кореньях, теперь донес до нее иное – далекий, едкий запах дыма из деревенских труб и с ним – тонкую нотку человеческой тревоги, словно привкус гари. Она поморщилась. В сторожке послышался шорох и отрывистый писк из-под печи. Маленькая полевая мышь, давняя соседка, высунула острую мордочку, будто спрашивая, все ли спокойно.

– Ничего, сестрица, – тихо проговорила Зареница, смахнув со лба поседевшую прядь. – Чужая боль пришла и ушла. А твои детки целы?

Мышь пропищала что-то еще и скрылась в своей норе. Этот привычный звук немного вернул ее к реальности избы, к ее простому, размеренному быту. Но ощущение надвигающейся грозы не отпускало. Оно висело в воздухе, плотное и несправедливое.

И тут ее взгляд, скользящий по опушке, зацепился за три темные, неподвижные фигуры у кромки леса. Старейшины. Они стояли и молча наблюдали, терпеливо дожидаясь, пока Агриппина скроется из виду, словно стражники у чужой границы.

Они остановились в нескольких шагах, не решаясь переступить черту.

– Мир твоему дому Зареница, – начал Ставр. Его голос был сухим и ровным, как треск ломающейся ветки. – Пришли к тебе. Спасибо за дитя Агриппины. Порча отступила. Сила твоя велика.

– Даром данное – даром отдается, – тихо ответила она, глядя куда-то в глубь леса.

– Сила, оставшаяся без продолжения, – что родник, что уходит в песок, – продолжил он. – Роду нужны твои дети, Зареница. Пора.

Она медленно перевела на него взгляд.

– Моя сила – не ваша вотчина, Ставр.

– Но долг – наш, – не дрогнув, парировал жрец. – Лес мог бы принять тебя тогда, младенца. Волки, холод... но мы взяли. Агафья вскормила и вырастила. Род дал тебе кров и имя.

И теперь ждет ответа. Ты – дитя этого места. Твоя кровь, чья бы она ни была, теперь – наша кровь. И долг твой – укрепить ее, дать ей продолжение. Для чего иного мы растили тебя?

Из-за его спины шагнул Вячеслав.

– Слышишь, жрец? Мы приютили подкидыша, а она нам законы читает!

– Молчи, – отрезал Ставр, не сводя с девушки взгляда. – Твои кровные родители, – сказал он тише, и в голосе его появилась странная нота, – кто бы они ни были... они оставили тебе не оберег, а зерно и землю. Знак роста, а не защиты. Может, они и правда верили, что отдают тебя чему-то большему, чем один род. Но мы – те, кто принял это зерно в свою почву. И теперь эта почва требует нового семени. Пока спит Медведь – мы живем. Но сны Его чернеют. Роду нужна новая узда. Ты отрекаешься от долга?

– Я не отрекаюсь от долга, – голос ее звенел, как лед. – Я отрекаюсь от ярма. Вы хотите сковать меня ребенком. Но сила, рожденная в неволе, будет немощной. Она не усмирит кошмары Хозяина – она станет их частью.

Последние слова повисли в воздухе, но не нашли отклика. Она смотрела в их лица и видела не гнев, не ярость – а глухую, непробиваемую стену. Слова ее были что семена, брошенные в каменную пашню. Они не прорастут. Они не могли прорасти. Старейшины уже видели в ней не ведунью, не суть – лишь сосуд, землю для посева. Живой участок нивы, который надлежит вспахать, хочет ли он того или нет.

Молча, словно движимые одной волей, они развернулись и пошли прочь. А она осталась стоять на пороге, слушая, как тревожный вой собак с другого конца деревни пронзает лесную тишину. И ей почудилось, что это воют не псы, а сами тени, что рождаются в самых черных и беспокойных снах спящего Медведя. Она отеклась от ярма, но тяжесть, что ложилась на плечи, была куда страшнее. Это была тяжесть почвы, в которую уже занесено мертвое семя. Она поняла – они не отступили. Они просто избрали иной путь.

ГЛАВА 2: ДОЛГ И ВОЛЯ

Туман предрассветный еще цеплялся серыми ключьями за нижние ветви сосен, но внутри сторожки уже проступали очертания простой утвари. Зареница стояла на коленях у порога. Длинные, медного цвета волосы, заплетенные в одну нехитрую косу, спадали ей на плечо. Простая льняная рубаха, до колен, была прохладной от ночного воздуха, и босые ноги чувствовали шершавость гладко утоптанного глиняного пола. В левой руке она сжимала крошку черного, пахнущего дымом хлеба, в правой – небольшую деревянную чашку с парным молоком.

– Прими, хозяин, не взыщи, – шепот, густой от сна, сливался с тишиной. Пальцы разжались, и крошки упали в щель под дверью, словно семена, брошенные в неплодородную почву. Капля молока, белая и густая, упала следом, впитываясь в потемневшее дерево порога. Ритуал был завершен.

Ритуал был не в щедрости дара – домовый, существо простое, требовал не яств, а постоянного. Этого тихого утра, этого шепота, этого знака уважения, повторяющегося изо дня в день.

Она уже собралась подняться, опершись ладонью о притолоку, как в груди что-то дрогнуло. Не звук, не голос. Словно камень, лежавший на дне лесного омута, внезапно шевельнулся, погнав по воде тихую, но настойчивую круговую волну. Это было ощущение, идущее сквозь землю, сквозь самые корни мира. Она замерла, отрешившись от всего, прислушиваясь к внутреннему чутью, к тому проводнику, что был проложен между ней и теми, кто к ней зывал. Зов был не из чащи, не от болотных духов или дремучих тварей. Он шел из деревни Мста. Внутреннее зрение отметило знакомый, коптящий след – шлейф угля и раскаленного металла, терпкий дух пота и старой силы. Светозар. Кузнец. Но зов был не о телесной хвори. Что-то иное, связанное с самой сутью его ремесла, с душой огня и волей железа, требовало ее внимания, будило тот самый камень в ее груди.

Шепот смолк. Зареница поднялась с колен, и движение ее было плавным, словно подъем тумана над болотом. Домашняя рубаша осталась висеть на деревянной спице у постели. Вместо нее она надела поневу из грубой шерсти темного, землистого цвета, подпоясавшись длинным кушаком, в складках которого уже лежали сушеная полынь и маленький, отполированный до блеска обсидиановый нож. На ноги обула простые поршни из сыромятной кожи, перехваченные у щиколотки ремешками. У порога, не поднимая взгляда, она взяла посох из ясеня, корявый и гладкий от прикосновения ее ладони. Была готова.

Путь от сторожки до Мсты был недолог, но пролегал через два разных мира. Сначала – чаща Чернобора, где воздух был густым и влажным, пах смолой, прелыми листьями и тайной. Деревья, могучие и молчаливые, пропускали ее без препятствий, ветви расступались, будто признавая свою. Здесь она была частью этого дыхания, этого живого, вольного организма.

А потом лес редел, и начиналась земля, выкорчеванная, подчиненная. Впереди, за последним валом вековых дубов, лежала деревня Мста. Сперва доносился лишь гул – отдаленный лай собак, приглушенное мычание скота, крик петуха. Потом запахи: едкая смесь дыма из десятков труб, навоза, кисловатого духа забродившей браги и пара от варящейся в котелках похлебки. Деревня вросла в землю, будто грибница. Кривые, утопанные множеством ног улицы, были исхожены домашней живностью – тощие куры копались в мусоре у плетней, упираясь в грязь, хрюкали свиньи. Из-за частокола доносилось сердитое блеяние овец. У колодцев, обнесенных срубам, копилась утренняя суета.

И эта суета замирала, едва она появлялась. Мужики, чинившие забор, замолкали на полуслове, провожая ее тяжелыми, испытующими взглядами. Бабы, тащившие ведра на коромыслах, притихали, судорожно прижимая к заскорузлым юбкам заигравшихся было детей, не позволяя им подбежать к странной женщине из леса. С ней здоровались – кивком, коротким, обрывистым словом. «Здравья, Зареница». Но в этих приветствиях не было тепла, лишь привычное, выстраданное уважение, замешанное на глухом страхе. Она была для них не человеком, а силой: нужной, как дождь в засуху, и столь же непредсказуемой и пугающей.

Кузница Светозара стояла на отшибе, у края деревни, будто стыдясь своего дневного бездействия. Низкая, почерневшая от копоти труба, дышала запахом остывшего пепла и металлической пыли. Перед входом валялись обрубки кричного железа, ржавые обломки и груды шлака, похожая на окаменевшую пену. Воздух звенел от тишины, непривычной для этого места.

Дверь была распахнута. Зареница остановилась на пороге, давая глазам привыкнуть к полумраку.

– Мир твоему дому, Светозар.

Старик, стоявший спиной к выходу над наковальней, вздрогнул и медленно обернулся. Его лицо, обожженное жаром и годами, было серым от усталости.

– И твоему дому мир, – отозвался он, и в его голосе прорвалось облегчение, что она пришла, хотя он и не звал.

В кузнице пахло жаром и отчаянием. Могучий старик с седой, опаленной бородой стоял над наковальней и смотрел на бесформенный обломок стали. Его руки, привычные к тяжести, беспомощно повисли.

– Не идет, Заря, – хрипло сказал он. – Совсем не идет. Будто кто песню внутри испортил, захрипела она. Не клинок выходит, а насмешка. Ломается, окаянный, на самом зачине.

– Железо, что с песней в душе, не ломается, – тихо проговорила Зареница, подходя ближе. – Оно гнется, поет или молчит. Значит, песню в нем убили, прежде чем ты начал.

Она взяла из его потных ладоней заготовку. Металл был холодным, но она чувствовала исходящий от него внутренний жар – жар недовольства, сбоя. Она закрыла глаза, обхватив сталь длинными пальцами. Она не колдовала, не читала заговоров. Она слушала. И вспомнила: руду для этой плавки брали из ручья у Старого Городища, места сильного, но обиженного, где

земля до сих пор помнила пепел и кровь. Металл впитал эту боль, а потом к ней прикоснулась чужая, живая зависть – тяжелая и липкая, будто смола. Внутри металла, в самой его сердцевине, пульсировал уродливый, черный узел. Не порча, не сглаз в чистом виде, а вплетенная в сталь чужая зависть, дурная мысль, пожелание неудачи. Кто-то сильно позавидовал новому заказу Светозара.

Она начала тихо напевать, без слов, лишь гласными звуками, будто убаюкивая испуганного зверька. Ладони ее согрелись, но не обжигали, а излучали ровное, ласковое тепло. Она водила пальцами по стали, не касаясь ее, будто распутывая невидимые нити, смывая с души металла налипшую грязь. Черный узел под ее напевом дрогнул, ослаб и растаял, как утренний туман под солнцем.

– Теперь попробуй, – тихо сказала она, возвращая заготовку кузнецу.

Светозар, не говоря ни слова, с новым рвением сунул сталь в горн. Когда он вынул ее, раскаленную докрасна, и ударил молотом, по кузнице разлился чистый, высокий звон. Песня металла, которую он так ждал. Звук был идеальным.

Кузнец вытер пот со лба, и на его лице впервые за день появилось подобие улыбки.

– Спасибо, Зареница. Не оставляешь старика. Держи, – он протянул ей только что отточенный, крепкий серп. – Хозяйке твоего будущего подворья пригодится.

Зареница мягко, но твердо отстранила подарок.

– У меня свой огород, Светозар. Лесной.

Кузнец кряхнул, пряча серп.

– Эх, дитя... Сила такая – и пропадать ей? Моего младшего, Мирослава, видела? Парень как дуб, руки золотые. Хозяйство бы с тобой сладил...

Она посмотрела на него, и в ее глазах, цвета грозовой тучи, не было ни обиды, ни раздражения, лишь бездна спокойной, непререкаемой уверенности.

– Мой муж – ветер в вершинах сосен. Мои дети – ростки папоротника под утро. Мой дом – от края Чернобора и до края. Не мне делить кров с одним мужчиной, когда весь лес ждет моего дыхания.

Светозар понимающе вздохнул и покачал головой. Он чувствовал масштаб этой судьбы, и ему стало почти стыдно за свою простую, человеческую мерку.

Выйдя из душной кузницы, Зареница направилась к колодцу на краю площади. Напоить жажду, смыть с рук ощущение чужой зависти и тяжелый дух металла.

По пути ее взгляд скользнул по знакомой завалинке. На ней, греясь на слабом солнце, сидел Ратибор. Он с удивительной для его возраста ловкостью вырезал из мягкой липы маленькую птичку-свистульку для кого-то из правнуков. Стружка, тонкая и упругая, завивалась к его ногам. Седая борода клинышком, глаза-щелочки, но в них светилась не угасшая с годами живость ума.

– Заря-зарница! – окликнул он ее, отложив нож и птичку. В его голосе звучала теплая, почти отеческая фамильярность, приправленная легкой, привычной насмешкой. – Иди сюда, погрей старика своим светом! А то солнышко-то нынче, как парное молоко, быстро остывает.

Она подошла, остановившись в шаге. Тень от нее упала на его работу.

– Здравья, Ратибор. Птичку делаешь?

– А то, – закричал старик, берясь за нож снова. – Малышне угодить надо. Не то что некоторым... – он искоса на нее взглянул. – Вот, к примеру, помнишь, лет пятнадцать назад, я тебе такую же сову вырезал? Ты ее в руках подержала, улыбнулась, а потом положила на пенек у леса. Говоришь: *«Ей на воле петь надо, а не в избе тлеть»*. Я тогда и думать начал, что из тебя вырастет.

Он помолчал, проводя пальцем по гладкой древесине.

– И ведь выросла. Не в обиду будь сказано, дитяtko, а как есть. Красавица, статность – в мать, должно быть... Ту, что мы в лесу не нашли. А нрав... нрав тот самый лесной, в чернoбoрoвский.

– Лес меня вскормил и вырастил, Ратибор. Я ему и обязана, – мягко ответила Зареница.

– Знаю, знаю... – вздохнул он. – Вот и поговори с ним, с лесом-то твоим, насчет одного моего дурака. Правнука моего, Влада. Ты его, поди, видела? Дюжий такой, косая сажень в плечах, на медведя ходил один-то, не боится!

– Видела, – кивнула Зареница. – Лицом знаком.

– Так вот, дурак-дураком и ходит! – Ратибор с притворным гневом ткнул ножом в воздух. – Мужик уже, а все в женихах! Говорю ему: *«Влад, парень ты хоть куда, а сила-то настоящая, лесная, живая – она вот, в Заренице. Присмотри, поговори. У нее дар, у тебя – руки да здоровье. Будет вам изба полная чаша, детский смех под стрехой!»*. А он... – старик скомкал лицо в уморительную гримасу, изображая стеснение, – отнекивается, бегаёт, как черт от ладана! Боится, понимаешь, тебя! Словно ты не плоть и кровь, а сама кикимора болотная, что слазить может! Слепой щенок!

Зареница позволила себе легкую, теплую улыбку. В его словах не было зла, лишь старческая, упрямая забота и сожаление.

– Не всякий мужчина готов разделить кров с ветром и тенью, дед. И не всякой тени нужен очаг, что дымит в небо одной трубой. Спасибо за думу твою, за заботу. Но мой путь лежит не к чужому очагу, а от него.

Ее слова, сказанные тихо, но с непоколебимой твердостью, повисли в воздухе. Внезапно вся бутафорская суета сошла с Ратибора, словно ее сдуло холодным порывом ветра. Он медленно, с тихим стуком, отложил в сторону нож и незаконченную птичку. Его прищуренные глаза стали острыми и тяжелыми, как у старого филина, видевшего не одно поколение и не одну судьбу, сломанную о людской уклад.

– Ладно, Заря, – выдохнул он, и в его голосе не осталось ни капли прежнего панибратства. Голос стал низким, жреческим, каким он бывал у ритуального костра. – Шутит-шутит, да дошутился. Дело-то, детка, пахнет не шутками, а дымом да пеплом. Ставр не шутит.

Имя старосты деревни прозвучало между ними как удар обухом по дубовой колоде.

– Ты для него, для всего Рода, – Ратибор наклонился к ней, и его голос стал тихим, жестким и безжалостным, словно скребок по шкуре, – как тот самый последний гвоздь для новой ладьи. Без него – на воду не спуститься. Уйдешь ты со своим даром в чащу – и все мы, как та ладья без гвоздя, потонем. В неурожайе, в хворях, в лихе всяком. Он свой гвоздь забьет. Понимаешь? Не силой, так хитростью. Не сегодня – так послезавтрашними морозами выморозит твою волю. – Он смотрел на нее не мигая, и в его глазах читалась не угроза, а горькая правда. – Род... он как река полая: широкий, могучий, всех кормит, но, если ты против течения – или на дно утянет, или о берег разобьет. А ты, детка... ты с самой колыбели против течения плывешь. Берегись. Иди и смотри.

Он тяжело вздохнул, и на его лицо снова напoлзла привычная, старческая усмешка. Но теперь она была горькой и натянутой, словно маска, отлитая из холодной стали.

– Ладно, иди, краса, – махнул он рукой, снова берясь за нож, но пальцы его заметно дрожали. – Солнце-то еще высоко, а старику подремать надо, пока мелкие не одолели. Глаза слипаются.

Обратная дорога в сторожку была иной. Лес, еще недавно казавшийся ей родным и безопасным, теперь дышал скрытой угрозой. В шелесте листьев ей слышались предостерегающие шепоты, в криках птиц – тревожные вести. Каждое дерево могло скрывать чей-то любопытный, враждебный взгляд.

Ратибор не болтал. Он был рупором. Его слова были официальным предупреждением, переданным самым безобидным, на первый взгляд, посланником. Ставр давал ей понять: ее воля – роскошь, которую Род больше не намерен терпеть.

Она подошла к своей сторожке, низкой, поросшей мхом, и остановилась на пороге. За спиной темнел Чернобор, его бескрайняя, манящая и пугающая чаща. Перед ней – запертая дверь в ее одинокий мир.

– Мой муж – ветер... – тихо прошептала она, глядя на сгущающиеся между деревьями тени. – Но кажется, надвигается буря.

Она зашла внутрь. Дверь с тихим, но окончательным стуком закрылась, отделяя ее от мира людей, который все настойчивее стучался в ее жизнь.

ГЛАВА 3: ЧУЖОЕ РУСЛО

На следующий день воздух стал густым и тяжким, словно его можно было резать ножом. Небо, затянутое сплошной пеленой свинцово-медных туч, давило на макушки вековых елей, заставляя их сучья смиренно склоняться к земле. Было тихо, неестественно, оглушительно тихо – ни последнего щебета проснувшихся зябликов, ни шелеста листьев, замерших в ожидании, ни назойливого жужжания комаров, прибитых к земле тяжестью погоды. Казалось, сама природа затаила дыхание, замерла в тоскливом ожидании приговора, который вот-вот будет вынесен. В сторожке Зареницы стояла удушливая духота, но открыть окно или дверь означало впустить внутрь не прохладу, а это молчаливое, всепоглощающее удушье, эту предгрозовую скорбь мира.

Она сидела за грубым столом, пытаясь сосредоточиться на привычном утреннем ритуале – заговаривании собранных трав. Перед ней лежали пучки душицы, зверобоя и чабреца. Ритуал этот был для нее не работой, а молитвой, разговором с самой сутью растений. Но сегодня все шло наперекосяк. Пальцы, обычно ловкие и чуткие, стали ватными и непослушными; они роняли стебли, не могли аккуратно сложить их в берестяную кубышку. Вчерашняя усталость, та цена, что она заплатила за спасение ребенка, все еще свинцовой тяжестью лежала на плечах, а тревога – острая и ядовитая, как жало – вонзилась глубоко в сердце, отравляя каждый вздох. Она знала – старейшины не отступили. Они выжидали, как хищники в засаде, и могли явиться в любой миг.

Желая вернуть себе хоть каплю контроля, Зареница с усилием сомкнула ладони вокруг пучка зверобоя, чувствуя его сухую, солнечную силу. Она закрыла глаза, пытаясь войти в привычное, медитативное состояние, и начала нашептывать старинный заговор-обращение, дошедший до нее от далеких предшественниц, что слышали шепот земли:

*«Зверобой-травка, чада Ярилы Солнца!
Ты противен темным силам, ты крепок против злого колдовства.
Как Солнце-отец палит тучи грозовые,
Как Мать-Земля гнет к себе коренья могицкие,
Так и ты, травка, стань щитом горящим, оградой живой.
Отгони Навых посланцев, отыми лихо утробное,
Закрой путь печали чуждой, глазу черному.
Силою Солнца, волею Земли, словом моим заклинаюсь!»*

Но слова, обычно лившиеся плавной, могучей рекой, сегодня спотыкались и рвались. Она забывала строфы, которые знала наизусть с детства. Вместо ровного потока силы чувствовалась лишь прерывистая, нервная дрожь. Магия не рождалась, она ускользала, как вода сквозь пальцы, уступая место навязчивому внутреннему шуму – гулу надвигающейся беды.

Даже «сестрицы»-пчелы не вылетали из ульев, чувствуя гнетущую тишину, нарушаемую лишь натянутым, как струна, биением ее собственного сердца. Она знала, что это затишье – лишь личина. Личина для грозы, что копилась не только в небе, но и в самой ее душе. И когда она, пытаясь сбросить оцепенение, наконец подняла взгляд от рассыпанных трав и посмотрела в смотровое оконце, личина эта разом сорвалась.

Он пришел.

Не с топотом и криком, а как приходит туман – бесшумно и неотвратно. На опушке, из сгустившейся предгрозовой мглы, возникла одна-единственная фигура. Ставр. Жрец.

Он не смотрел на сторожку, его взгляд был устремлен куда-то вглубь, будто он видел не деревья, а саму нить событий. Зареница медленно отодвинулась от стола. Рука сама потянулась к тяжелой деревянной щеколде. Скрип двери прозвучал оглушительно в звенящей тишине. Она вышла на крыльцо, вжавшись спиной в шершавые, прохладные бревна косяка, и замерла, встречая его. Она не позволила бы ему подойти к ее порогу первым. Это была ее территория.

Зареница не двинулась с места, лишь подняла голову, когда он, наконец, приблизился, остановившись в двух шагах. Его лицо, аскетичное и иссеченное морщинами, не выражало ни гнева, ни угрозы. Глаза – глубокие, как лесные колодцы, в которых, казалось, утонуло множество чужих правд, – смотрели на нее с невозмутимым спокойствием. Его голос, когда он заговорил, был ровным и глубоким, как гул земли.

– Мир твоему дому, Зареница.

– Мир дому, в который приходят по зову, а не по долгу, Ставр, – парировала она, не отводя взгляда.

Уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. Он остановился в двух шагах, не переступая порог, уважая ее границы, но отрицая ее право их иметь.

– Пришел побеседовать. Не как старейшина к ведунье. Как жрец к носителю силы. Сила, подобная твоей, – это река, дитя. Мощная и живая. Но останови ее течение, отведи от общего русла – и она станет болотом, зацветет, погубит сама себя. Роду нужны новые русла. Твоя сила должна жить в потомках.

Зареница медленно оттолкнулась от косяка. Ее собственная сила, обычно тихая и глубокая, закипела внутри холодной, острой яростью.

– Ты говоришь о силе рода, Ставр, но в твоих устах она звучит как «сила жрецов». Ты требуешь ее для себя. Чтобы поставить над ней очередного хранителя с посохом.

– Не для себя, – покачал он головой, и в его глазах мелькнуло что-то, похожее на искреннюю печаль. – Для всех нас. Ты слышишь сны Медведя. Но слышишь ли ты их до конца? Хозяин Леса во сне ворочается, ищет, куда пристроить свою мощь. Он видит тебя, одинокий светоч, и скорбит, что свет твой может угаснуть без единой искры в потомстве. Он жаждет продолжения.

Это была хитрая уловка – использовать ее же мифологию, ее связь с Медведем против нее самой. Но Зареница не дрогнула.

– Ты смеешь толковать сны Медведя? – ее голос зазвенел, как лед. – Я слушаю его дыхание каждую ночь. Я чувствую тяжесть его лап на границах мира. Он не скорбит о потомстве, Ставр! Он радуется свободной траве и одинокому волку, что бежит против ветра! Ты слышишь лишь эхо своих мыслей в его сне.

Лицо Ставра оставалось невозмутимым, но в глубине его глаз что-то похолодело.

– Твое тело, Зареница, – не твоя крепость. Оно – храм. Храм силы, данной тебе этим местом, этой землей, этим родом. И долг жрицы – не запирает храм наглухо, а открыть его для новой жизни. Иначе какой в нем смысл?

– Смысл в том, что это мой храм! – выдохнула она, и в воздухе запахло озоном, будто перед ударом молнии. – Мое тело – мое святилище. И никто не будет в нем хозяином, кроме меня. Ни ради твоего бога, ни ради твоего рода.

Она сделала шаг вперед, и теперь ее серые глаза полыхали тем самым диким, неукротимым светом, который так манил и пугал старейшин.

– Ты предлагаешь мне стать почвой для посева. Удобной, плодородной землей, которую можно вспахать. Но я – не почва, Ставр. Я – лес. Дикий, свободный и растущий по своей воле.

Они стояли друг против друга – воплощение несовместимых истин. Молодая женщина с поседевшей прядью и глазами грозы и седовласый жрец с посохом, вобравшим в себя солнце.

Ставр смотрел на нее долго и пристально. Ни тени гнева, лишь холодное, бездонное сожаление.

– Жаль, – произнес он наконец, и это слово прозвучало как приговор. – Горько жаль. Ты выбираешь тлен одиночества против вечности рода. Это самый горький, самый бесплодный из всех выборов.

Он развернулся, не прощаясь, и растворился в серой мгле, отступил так же бесшумно, как и появился.

И в тот миг, когда его фигура исчезла, с неба обрушилась гроза.

Но это была не очищающая летняя гроза, а яростный, слепой ураган. Небо разорвалось ослепительными молниями, которые били не в поля, а в вершины старых елей, с корнем вырывая их из земли. Грохот грома был не раскатом, а яростным ревом. Хлынул ливень, не вода, а сплошные потоки, смывающие землю.

Зареница стояла под струями, не чувствуя ни холода, ни страха. Ее промокшие одежды прилипли к телу, седая прядь волос приклеилась к щеке. Она подняла лицо к неистовому небу, вбирая в себя всю ярость стихии. Ее собственная сила, обычно тихая и целительная, теперь клочкотала внутри, заряжаясь этой яростью, становясь острее, жестче, оборонительнее.

Они не отступят. Они видели в ней ключ, сосуд, ниву. Они не видели в ней человека.

«Что же...» – подумала она, сжимая кулаки, в которых потрескивали невидимые молнии. *«Если они хотят видеть во мне силу природы... пусть увидят бурю».*

ГЛАВА 4: ОБРЯД

За окном буйствовала стихия. Летняя гроза, пришедшая на смену душному дню, не принесла облегчения. Раскаты грома, густые и тяжелые, будто каменные колеса, перекатывались по небу. Слепящие молнии на мгновение выхватывали из тьмы скрипящие, мечущиеся ветви елей, а затем все снова проваливалось в багровый сумрак. Дождь не стучал, а бил в стену и оконце сплошным потоком, словно пытаясь смыть сторожку с лица земли.

Зареница ворочалась на постели из шкур. Сон не шел. Под вой ветра и грохот грома в ушах звенел ровный, мертвый голос Ставра:

«Горько жаль. Ты выбираешь тлен одиночества...»

Она куталась в одеяло, но холод пробирал изнутри. Она знала – он придет. Не сегодня-завтра. Его нельзя было купить, уговорить или напугать. Он был как закон природы – неумолимый и безликий.

«Он не посмеет сам...» – лихорадочно думала она, вжимаясь в подушки. *– Не та вера у них, не та магия. И среди деревенских... вряд ли найдется такой...»*

Но тут же в памяти всплыли окаменевшие лица старейшин, полные не страха и не злобы, а того самого бездушного долга. Они не были людьми в такие моменты. Они были инструментом. А для ритуала инструментом могло стать что угодно – и камень, и зверь, и человек. Она молила силу леса, шептала имена ветра и деревьев, пыталась дотянуться до спящего сознания Медведя, чувствуя, как его сны становятся все чернее и беспокойнее. Ей оставалось только верить, что ее связь с этим местом, ее воля станут щитом.

И этот щит треснул в ту же секунду.

Удар в дверь прозвучал не сквозь грохот грома, а внутри него, в краткий миг затишья между раскатами. Глухой, сконцентрированный, деревянный. Не просьба, не требование – начало уничтожения.

Зареница вскочила, сердце прыгнуло в горло, совпав с новым ударом молнии. Дверь вздрогнула, из щелей посыпалась труха. Она метнулась к тяжелому засову, но третий удар – и массивная щеколда с треском лопнула, сорвавшись с петель. Дверь с грохотом, заглушаемым ревом ветра, распахнулась.

На пороге, залитые струями ливня, стояли трое. Молодые, крепкие, с лицами, окаменевшими в выражении долга. В их глазах не было злобы, лишь пустота, страшнее любой ненависти. Ветер ворвался в избу, задувая огонь в камельке и швыряя по стенам берестяные тугеса.

Зареница отпрянула, ее рука инстинктивно схватилась за горшок с золой у печи. Но они были быстрее. Они двинулись на нее, не обращая внимания на бурю, будто были ее частью. Первый схватил ее за руки, сжимая так, что кости хрустнули. Второй навалился сзади, обхватив так, что из легких вырвался сдавленный стон, поглощенный раскатом грома.

Паника, острая и слепая, ударила в голову. Она забилась, выгнулась, пытаясь выскользнуть, укусить. Ее ногти впились в чью-то кожу, она почувствовала вкус чужой крови на губах. Но их руки были как корни старых деревьев. Ее сопротивление было отчаянным, но жалким – как трепет листка на ветру.

– Не надо... пустите! – успела она выкрикнуть, прежде чем в ее открытый рот грубо, до тошноты, всунули комок жесткой, пахнущей дымом и потом тряпки. Слова превратились в бессмысленный хрип. Гроза заглушила ее последний звук.

Они подхватили ее, не обращая внимания на судорожные вздрагивания, и понесли в крошечную тьму, навстречу хлещущему дождю и вою ветра.

Они несли ее по ее же тропам. Тропам, которые она знала с детства, по которым ходила за травами, к ручью, к пасеке. Каждый знакомый поворот, каждый корень, выступающий из земли, был теперь частью ее унижения. Они использовали ее мир против нее. И вели к ее же святыне.

При свете дня Камень-Пуповина был древним, невозмутимым стражем. Теперь же, в неровном свете факелов, воткнутых под сенью раскидистых елей, он казался чужим. Маслянистая поверхность его, обычно скрытая мхом, мерцала животным блеском. Пляшущие тени от огня цеплялись за стволы деревьев и лица людей, превращая их в нечто уродливое и незнакомое. Казалось, сам лес отворачивался, не в силах смотреть на предстоящее.

Вокруг стояли старцы. Не все, но самые влиятельные. Их плащи намокли и облепили плечи, но они не двигались, словно корни. Их лица, освещенные снизу пляшущим огнем, были лишены всякой человечности. Вячеслав, чью дочь она спасла однажды от лихорадки, стоял среди них. Новая вспышка молнии, ослепительно-белая, выхватила его лицо – серое, застывшее в личине стыда. Когда ее взгляд, полный мольбы и немного вопроса, встретился с его, он зажмурился и резко отвернулся, уставившись в темноту леса. Это было последнее предательство, и оно ранило больше, чем грубые руки.

«Лес!.. – закричало что-то внутри нее. – Услышь! Медведь! Проснись! Они творят кощунство у Твоего Камня!»

Но в ответ был лишь рев ветра и оглушительный удар грома, под который мужчины, не встречая больше яростного сопротивления, грубо швырнули ее на холодный, размокший мох перед Камнем. Перед тем как вынести из избы, ей скрутили за спину руки сыромятным ремнем. Дерево впилося в запястья, и каждое движение отзывалось острой, сковывающей болью.

Вода с промокшей одежды и с камня брызнула ей в лицо, застилая глаза, словно природа сама не хотела, чтобы она видела. Она снова забилась, пытаясь вывернуться, вышвырнуть из себя чужое прикосновение хотя бы движением плеч и корпуса, но это было жалкое, беспомощное корчение. Ее лицо прижалось к мокрому мху, она попыталась с силой вытолкнуть языком

тряпицу, но та, размокшая и распухшая, лишь глубже встала в глотке, вызвав новый спазм. Ее стошнило, но рвота, не найдя выхода, обожгла пищевод и носоглотку, смешавшись со слюной и водой, заливая ей ноздри. Она задыхалась, ее тело судорожно ловило воздух короткими, хрипящими глотками, которых не хватало легким. В ушах звенело, а в глазах от нехватки кислорода поплыли багровые пятна, сливающиеся со вспышками молний.

Ее придавили еще сильнее, вжали в грязь, лишая последней возможности хоть как-то двигаться. Она видела над собой только ноги Ставра, его посох, впившийся в землю, а дальше – разорванное молниями, безумное небо, которое кружилось и плыло у нее перед глазами.

«Почему Ты молчишь? – металась она в мыслях, чувствуя, как холодная вода заливается за воротник, стекает по вискам. – Я же Твоя! Я слушала Твои сны! Я берегла этот лес!»

Но сны Медведя были черны и непроглядны, а лес отвечал ей лишь воем бури и шумом ливня, смывающим ее тихие, беззвучные слезы.

– Дитя Леса, – голос Ставра был ровным и мертвым, словно доносящимся из-под земли. – Сила дана тебе не для твоего своеволия. Она – река, и ей нужно русло. Жизнь дана тебе не для твоего одиночества. Она – семя, и ему нужна почва. Род требует продолжения. Медведь требует жертвы.

Он поднял руки, и старцы замерли в ожидании.

– Мы не будем призывать светлые сны! – провозгласил он, и слова его обрушились на Зареницу тяжелее, чем чьи-то руки. – Ибо Хозяин спит беспокойно. Мы призовем сон о вечном чревоносии! О плодородии без радости, о росте без цели! Мы призовем не духа и не тварь – мы призовем Само Сновидение! Туман Чревотворящий!

Он начал произносить слова. Древние, гортанные звуки, которых не было в ее фолиантах, которые не пели о жизни, а булькали, как грязь на дне трясины. Это был не язык заклинаний, а язык болезни, крик искривленного инстинкта.

И Зареница, лежащая в грязи, поняла все. Это не было похоже ни на что, о чем она могла бы подумать. Лучше бы это был мужчина. Лучше бы это была грубая, животная похоть, от которой можно отгородиться ненавистью, от которой можно очерствить душу и выжечь память. Это было нечто неизмеримо более чудовищное.

Туман Чревотворящий.

Ее ум, отточенный годами общения с сущью вещей, пронзило ясное, леденящее знание. Это не дух. Это сгусток. Сгустившаяся до плоти кошмар из сновидения Спящего Медведя – бесконечный, безличный, неостановимый инстинкт размножения. Это было самое темное лоно мира, лишенное тепла материнства. Вечное чрево, что плодит не жизнь, а подобие, не семя, но тлен. Слепая и немая поступь плоти, что хочет быть, не ведая зачем.

Она увидела его. Из-за стволов, из самой сырой земли, пополз он. Не пар, а плотная, медленно пульсирующая масса болотного цвета, испещренная проблесками тусклого, желтовато-зеленого свечения, словно гнилушки в лесной подстилке. Он не имел формы, не имел лица. Он был Силой. Заразой.

Запах ударил в ноздри, пробившись сквозь тряпку в глотке – сырая земля, гниющие листья, прелые грибы. Запах могилы, в которой что-то вечно и бесцельно прорастает.

«Нет, – застонал ее внутренний голос. Не это. Лучшие убейте. Лучшие...»

Но жрецы думали иначе. Их логика была чудовищно ясна. Физическое зачатие могло не удался. Ее воля, ее магия могли отвергнуть чужое семя. Но это... Это было выше воли. Это был закон. Гарантия. Они не просто хотели ребенка. Они хотели орудие, мессию, рожденного самой мощью Хозяина. Они совершали не акт воспроизводства, а акт тотального подчинения, доказывая, что ее тело, ее душа – ничто перед лицом «высшей» воли рода.

– Не печалься, чадо, – словно прочитал ее мысли, голос Ставра был ровным и чудовищно спокоен. – Мы не оскверняем тебя. Мы возводим тебя в сан Матери-Земли. Через тебя глаголет сам Хозяин. Воля одного – ничто перед волей рода.

Туман, холодный и липкий, коснулся ее ног. Это был не холод воды, а холод космоса, проникающий глубже костей, в самую сердцевину ее существа. Он обволакивал ее, впитывался в кожу, просачивался сквозь ткани одежды. Он входил в легкие с каждым ее судорожным, бессильным вдохом, заполнял ее, вытесняя саму ее суть.

И тогда она почувствовала. Внутри, в самом магическом центре ее женственности, в ее лоне-святилище, что-то закипело. Не тепло жизни, не искра нового существа. Холодная, липкая, требовательная жизнь, чужеродная и паразитическая. Плесень, прорастающая на заболоченном бревне. Спора.

Она попыталась сжаться, защититься, собрать свою силу – ту, что пела с пчелами, шептала с травами. Но ее магия, всегда бывшая послушным продолжением ее воли, теперь утекала в эту новую, чужую плоть, как вода в песок. Она пыталась удержать ее, сжать в кулак – и чувствовала, как сила просачивается сквозь пальцы, питая зарождающийся кошмар.

Ее тело больше не было ее крепостью. Оно стало землей, которую пашут против воли. Могилой для нее самой и колыбелью для чего-то, что не должно было родиться.

Это было не зачатие. Это была порча. Порча самой ее сути, подмена живого семени – мертвой глиной, обмазанной душистым медом. И в тот миг, когда эта глина затвердела внутри нее холодным ядрышком, она почувствовала, как что-то лопнуло.

Ее связь с лесом, с пчелами, с ручьем – та самая, что тянулась с самого детства, – порвалась, словно гнилая нить. И вместо нее установилась новая, чудовищная связь – с этой спорой, с этим сгустком Тумана внутри нее. Она чувствовала его холодный пульс, его слепую, бездушную волю к росту.

Все кончилось так же быстро, как и началось. Туман отступил, втянувшись обратно в землю. Факелы снова ярко запылали. Руки, державшие ее, разжались.

Она не упала. Она рухнула на мох, ее вырвало тем самым Туманом – липкой, сизой слизью. Тело онемело, стало чужим, разбитым корытом. Внутри была только пустота, холод и осознание необратимости.

Ставр стоял над ней, глядя вниз своим ледяным взглядом.

– Теперь ты принадлежишь роду, ведунья, – произнес он, и это прозвучало как клеймо. – Ты – почва. Ты – сосуд.

Ее руки были развязаны с той же безликой эффективностью, с какой и связали. Кто-то грубо выдернул изо рта тряпичную пробку. Воздух рванулся в глотку, вызывая новый приступ кашля и рвоты. Она отхаркивала слизь и желчь, чувствуя, как ее тело бунтует против осквернения, но не в силах его извергнуть.

И тогда, едва сумев вдохнуть, она прохрипела ему вслед, в спину, уходящую в темноту: – Ставр!

Голос ее был разбитым и сиплым, но в нем горели угли последней, отчаянной ярости. Он на мгновение замер, но не обернулся.

– Ты... ты не семя в меня вселил! – выкрикнула она, и каждое слово было похоже на стон. – Ты вселил в меня свою смерть! Ты думаешь, это дитя рода родится? Это будет тварь! Чудо твоего неведения! И я... я рожу его, чтобы он стал проклятием для вас всех! Он будет вашим концом, жрец! Ты полил корни дерева ядом и ждешь сладких плодов!

Она почти кричала теперь, приподнявшись на дрожащих руках, ее волосы, мокрые и в грязи, слиплись на лице.

– Ты хотел продолжить род? Ты его похоронил! В моем чреве! Иди... иди и готовь ему погребальный костер!

Она рухнула обратно в грязь, силы оставили ее. Отзвук ее слов повис в воздухе, смешавшись с затихающим шумом дождя. Было ли это пророчеством или просто проклятием отчаявшейся – не имело значения. Она вложила в эти слова всю свою поруганную волю, всю ненависть, на какую была способна.

И в наступившей тишине они прозвучали как приговор.

Тишина после бури была оглушительной. Лишь редкие тяжелые капли падали с листьев, словно лес медленно, с усилием, возвращался к жизни. А она лежала, не в силах пошевелиться, и смотрела в черную, беззвездную просеку между ветвей. И сквозь боль, сквозь оцепенение и ужас, в сознании всплыли слова, тихий голос из детства, голос ее названной матери, старой Агафьи, сидевшей у печи долгими зимними вечерами.

«Запомни, дитя мое, – словно доносился тот голос сквозь время. – Мир наш не стоит на китах, небесах или черепахах. Он покоится на снах.»

Она видела в полубреду то лицо, изборожденное морщинами, добрые усталые глаза.

«В самой глубине, под толщей каменных корней земли, спит Великий Медведь. Мы не знаем его имени. Он – сама Природа, дикая и безразличная. Он лег отдохнуть, и сон Его стал миром. Деревья – волосы Его шкуры. Реки – слюна с Его могучей пасти. А жизнь наша...»

Голос в памяти дрогнул, и Зареница зажмурилась, чувствуя, как новая, леденящая волна понимания накатывает на нее.

«А жизнь наша, дитя, – всего лишь блики под Его сомкнутыми веками. Пока Медведь спит – мы живем. Мы – тень Его сна. И все, что мы есть, все, что мы делаем – часть этого сна.»

И теперь она поняла. Поняла до самого дна своей израненной души. Ставр и жрецы не просто изнасиловали ее. Они не просто оплодотворили ее кошмаром. Они влезли в самый сон Хозяина. Они нашли в Нем самую темную, самую слепую гримасу – сон о вечном чревоносии – и вырвали ее клоч, и впили ей в утробу. Они не продолжили род. Они пришили к нему заплату из кошмара самого Создателя их мира.

Они не просто убили в ней ведунью. Они сделали ее лоном для чудовищного сновидения.

И тогда, наконец, пришли слезы. Не тихие и горькие, а тяжелые, давящие, беззвучные рыдания, сотрясавшие ее изнутри. Они текли по вискам, смешиваясь с грязью и дождевой водой, впитываясь в землю у подножия Камня-Пуповины. Она плакала не о своей сломанной воле и не об оскверненном теле. Она плакала о спящем Медведе, в чей безмятежный покой теперь навеки вшит был уродливый шов, чьи сны отныне будут отравлены тем, что они, люди, посмели в них сотворить. И она, Зареница, была теперь вечным напоминанием об этом кощунстве – живой, дышащей раной в боку у Медведя.

ГЛАВА 5: ЧУЖОЕ ВНУТРИ

Просыпаться было хуже, чем умирать. Смерть – разовое усилие, финал. А пробуждение – это возвращение в склеп собственного тела. Первое, что она ощущала, – запах. Не смрад немытого тела или гниющей еды. Запах был глубже, въевшийся в самую плоть, в основу костей. Сладковато-приторный, как падь больного дерева, с кислым оттенком прелой земли и подкожной гнили. Запах Тумана. Он стал ее новым естеством.

Она лежала на шкурах, уставившись в потолок, где в щелях между бревнами копилась тьма. Двигаться не хотелось. Мыслить – тоже. Внутри была выжженная пустота, будто душу ее выскребли дочиста раскаленной ложкой, а на ее месте осталась лишь холодная, скользкая яма. Ритуал у Камня был не просто насилием. Он был осквернением, перепахиванием самой ее сути чужим, извращенным плугом. Она была как родник, в который насыпали праха и пепла; вода еще сочилась, но была отравлена, мутна и мертва.

Снаружи доносились привычные звуки: щебет птиц, шорох листвы. Но они были плоскими, лишенными объема и смысла, как стук камешков в пустой кружке. Ее связь с лесом, та самая, что тянулась с детства, оборвалась. Не ослабла, а именно оборвалась, и теперь она чувствовала лишь гулкую тишину в месте, где раньше звучала целая симфония жизни.

Она заставила себя подняться. Ноги были ватными, подкашивались. Подошла к кадке с водой, зачерпнула горсть. Вода, обычно живая и звонкая, на вкус была словно затхлой. Она умылась, но ощущения свежести не наступило. Грязь была не снаружи, а внутри. Под кожей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.